



ТАТЬЯНА ГОГОЛЕВИЧ

Гоголевич Татьяна Евгеньевна родилась в 1962 году в г. Тольятти. Окончила Куйбышевский медицинский институт. Член Союза российских писателей. Автор книги рассказов «Мой остров» (2009), книги стихотворений «Алые яблони» (в серии «Библиотека журнала „Город“, 2004) и книги путевых заметок „Средняя Азия. Взгляд против солнца» (2017). Живёт в Тольятти.

РОЖДЕСТВО

Мне казалось, что он не мог умереть до конца, что стоит приложить какое-то настоящее усилие, — и я его найду.

Между тем, прошёл срок от полной луны до новолуния, и ещё три дня, и сорок дней, а потом — сорок дней и ещё шесть.

Я искала его везде, и нигде его не было. Ни дома, откуда его унесли, где осталась мама. Ни во всех других местах, где он ходил, сидел, разговаривал и смеялся, бывая часто или редко. Он ушёл сразу и отовсюду. Бумаги и вещи ещё сохраняли его запах, но энергия, лёгкая, живая, ещё поднимавшаяся с листов, написанных его рукой, — непоправимо затухала с каждой новой неделей.

Только один раз, мимолётно, я почувствовала его бесснежной декабрьской ночью, очень холодной, чёрной и звёздной, в четырёхвековом селе с древне-мордовским названием, которое переводится на русский язык словом «Сквозняк».

Лежало село на горе, между других гор, и жила там папина младшая, сестра. Ей тогда было восемьдесят пять. А мне — тридцать четыре.

Когда хоронили моего отца, стоял ненормально тёплый ноябрь с огромной луной. Луна всегда его томила, и умер он — в полнолуние, в час, когда она достигла своего пика. Меня не было с ним, но я вышла на улицу и увидела эту громадную и больную, оранжево-красную луну. А в это время в пустом доме, где он жил, остановились большие старые часы, которыми он очень дорожил.

Земля, которую мы бросали на могилу, тоже была ещё ненормально тёплой. А ночью ударили морозы. Потом наступил декабрь. И вот почти три недели держалось минус пятнадцать — двадцать, а снег все не падал. Когда мы приехали к моей тётё, ни снежинки не лежало на окаменевшей остывшей земле.

Я давно не была у тётё, и, пока мы поднимались в гору, поразила тому, что знакомые мне дома стали такими старыми.

Я ведь всё там помнила, каждое дерево. Только теперь склонённые, трясущиеся деревья напоминали очень старых людей: недоумевающий добрый взгляд, коричневые глубокие морщины. Седые нечёсанные ветви-волосы, падающие на лицо.

Развалившиеся старые деревья походили на тех стариков, которые трясущимися руками подносят ложку ко рту, а еда выливается обратно.

Безжалостная, ветхая старость окружала и тётин дом. Тётя заметно начала дряхлеть, а папина смерть и вовсе чуть не убила её. Она жила одна, но уже не могла сама обратиться, затопить печь, приготовить поесть.

Когда мы зашли в калитку, из-под крыльца вылезла седая, тоже старая, хотя уже и незнакомая собака. Она открыла пасть, чтобы гавкнуть, но раздумала и зевнула. Не зная нас, она смотрела нам прямо в глаза с надеждой, что мы не окажемся плохими людьми, и ей не придётся делать того, для чего её держали.

Мы столкнулись с тётёй на крыльце. Она вышла, неся в иссохших, тоненьких руках какую-то мисочку. Не сразу разглядев нас через толстые стёкла очков, надетых, на резинке, поверх платка, всплеснула руками. Мисочка выпала из рук, а она прижала нас — по очереди — к сердцу. Тётя едва держалась на ногах. Она вся была высохшая, лёгонькая, хрупкая.

Ночью, в саду, где неподвижно стоял беспощадный, как сама смерть, мороз под чёрным небом, обсыпанном ледяными жёсткими звёздами, — я вдруг вспомнила, как любила когда-то просыпаться здесь, в Морквашах. Я просыпалась не рано, когда все уже расходились по своим делам, и мне нравилось какое-то время лежать и чувствовать изнутри тётин дом. Его наполняли запахи и звуки, говорившие о временах года, о ветре и солнце, или о том, что на улице снегопад, что на кухне ещё топится печь, а корова уже подоена. В холодные дни по дому, потрескивая половицами, мягкими волнами ходило тепло от круглой печи, расположенной в комнатах, а в тёплые — вливался в открытые окна сад.

Я вспомнила, что в летнее утро, когда по всему саду колыхались стрекозы с длинными крыльями и прозрачные, плавающие по краям разноцветные тёплые тени, этот сад был особенно хорош. Дядя Гриша умел в нашем жёстком климате выращивать южный виноград, который раньше рос у него на Дону. Дядя Гриша не вернулся на родину после десятилетнего заключения, но создал кусок своей родины в Поволжье. Я не знала, в чём была дяди Гришина вина. Мне хватало того, что мой отец любил его, как брата.

Виноград рос в самой верхней части сада, образующая большой тоннель. Огромные виноградные деревья. Высокие узловатые, гибкие стволы укладывались на зиму в глубокие канавы, прорытые по краям тоннеля.

Сад был чёрен. И сердце моё сжалось. Зимой сад обильно покрывался инеем и пушистым снегом. И то, и другое подолгу держалось на деревьях. Но теперь не было ни снега, ни винограда, ни моего отца, ни дяди Гриши, и тётин дом за шестнадцать лет без хозяина состарился, покрылся морщинами, хотя и был ещё крепок — крепче самой хозяйки.

Звёздное небо было таким чёрным, что казалось обугленным. Я стояла, запрокинув голову вверх, чувствуя, что душа моя суха, как эта бесснежная, жестокая ночь. Я не знала раньше, что горе может быть таким — бесслёзным и оцепенелым. Я смотрела на небо и понимала ноющим сердцем, как оно может разорваться пополам.

Мне тогда хотелось умереть. Я ещё не знала, что способна пережить не только это. Я была бы тогда рада собственной смерти, и, вместе с тем, чувствовала, что во мне слишком много жизни. Избыток жизни усиливал боль, делая её непереносимой.

Я смотрела в небо, чувствуя, как оно с каждой минутой становится всё чернее и выше. В какой-то момент я ощутила его бездонность — не просто высоту, но не постижимую рассудком бесконечность над неуютным, голым, застывшим маленьким садом на склоне, над пустыми сарайчиками, где когда-то было множество животных, над тёмно-синим домом, где жила моя тётя — маленькая и лёгкая, как птица. Надо мной, стоявшей в растерянности на дорожке между чёрных яблонь с неснятыми, замёрзшими бурыми яблоками и не опавшими рваными листками. Морозные звёзды что-то мне напоминали, но я не могла сосредоточиться и понять — что. Было так черно и звёздно, что свет от окон, жиденький и робкий, терялся и таял. То ли тьма поглощала его, то ли звезды перебивали.

И вот тут я почувствовала папу — слабо и смутно. Он тогда ещё мне не снился, не подавал никаких знаков. Но я почувствовала, что это — именно он. Он стоял в саду с той стороны, где тень была сильнее всего. Нет, я не увидела его, и не услышала, просто — почувствовала, определённо, хотя и слабо. Так же, слабо я ощутила, как папа протянул руку по направлению ко мне — вернее, слегка, не до конца, приподнял её. Это было похоже и на непроизнесённую мольбу, и на предостережение. Но более всего это походило на лёгкое движение осеннего листа в безветрии.

Я вдруг вспомнила, как папа, в тот светлый день, когда я вернулась к нему из Москвы, почти не отвечая на мои расспросы о болезни, с сосредоточенной настойчивостью, расспрашивал меня о моих планах на декабрь. В декабре я должна была ехать на конференцию в Москву. Тогда это само собой разумелось, но папа, вдруг, взял с меня слово, что я обязательно туда поеду.

Теперь же было странно думать о московской конференции в немом, безжизненном саду, под безответным небом, обжигающим зловеще-торжественными звёздами. Я внимательно посмотрела туда, где только что легко стоял мой отец, и — уже ничего не почувствовала, кроме холода. Осталось только мерцание между деревьями, такое же слабое, как чувство, которым я ощутила папу. Я подумала, что, должно быть, схожу с ума, но не ушла из сада. Между тем, мерцание усилилось. Оно заполонило бедный,

озябший сад, заслонило собой звёзды, осторожно зашуршало тоненькой папиросной обёрткой вокруг раскидистых ветвей — и вдруг пошёл снег.

Потом были и московская конференция, и сорок дней, и первый Новый год без него, и боли было много. Но я теперь не помню подробностей той реальности, как не помнят сны. Со мною не случилось депрессии в обычном смысле этого слова. Я не просто могла работать: мне нужно было работать, все время, постоянно. Мне только трудно было раздеться на ночь, разобрать постель, принять душ. Я забывала это делать. Ещё я всё время думала о том холоде, который стоял тогда на кладбище, и, когда мне самой было холодно, ощущала, как холодно там, ему.

Прошло сорок дней, и ещё шесть. И наступил Рождественский Сочельник.

Мы опять приехали к тётке Нине, и снова было очень холодно: настоящий рождественский мороз. Когда мы заходили в калитку, в синем небе над домом загорелась первая, белая звезда.

Топилась банька, а тётка, к большому нашему удивлению, готовила ужин и накрывала на большой стол в зале, как когда-то в этом доме принимали желанных гостей. И стол, как прежде, ломился от припасов горячей еды и домашнего ягодного вина. Увидев наши изумлённые лица, тётка засмеялась, как смеялась раньше, очень давно.

Перед банькой я вышла на крыльцо. С него открывались противоположные горы.

То, что в иных местах обозначают словом «ущелье», в наших горах называется оврагом. Овраги наши широки. Между домом и противоположной горой было, наверное, больше двух километров.

Не разумом, но памятью тела я вдруг вспомнила, что северный ветер приносил с Волги запах воды, сосновых брёвен и песка, смешанного со стружкой. Так пахло начало зимы. Восточный и западный ветры пахли горами.

Восточный — всегда был самым сильным, он стряхивал плоды с деревьев, ломал ветви и размётывал сено с крыши сарая. Как никакому другому из ветров, ему было, где разгуляться: он летел через широкий овраг, от горы к горе. Он нёс запахи выветренного известняка и дальних лесов.

От западного ветра защищала Могутовая гора, на которой лежало село, и ветер, собственно, не дул, а мягко спускался с горы в туманном золотистом ореоле распустившегося горицвета. Он веял маленькими жёлтыми тюльпанами и первыми грибами: сморчками и строчками. Он был весенним.

В южном ветре сложно слышались тепловозное депо, цветущие летние луга и мелкие, горячие илистые озёра с камышом. И всегда при любом ветре или безветрии, стояли в доме тётки Нины дома запахи молока, сена, хлеба и дыма...

Из бани несло седым дымным паром. Сквозь синий, густой вечер белели верхушки гор и известковые сколы. В древности горы назывались Белыми. В скупом освещении изломы белых граней можно было издали спутать со снегом.

В моём детстве с гор слышался тихий, но внятный и даже несколько грозный гул, похожий то на ворчание, то на отдалённый раскат грома. Я смотрела с тёмного крыльца на звёзды, очертания деревьев в садах, горы — и пыталась понять, что это гудит. Ни лес, ни село, ни что-либо другое не способны были на такое. Должно быть, гудели сами горы, древние утёсы, обрывистые обветренные скалы, хрупкие и полные глубиной, вековой силы.

Папа выходил на звёздное крыльцо, ерошил мне волосы.

— Что, горы гудят? — спрашивал он меня.

— От чего они гудят, папа?

— А ты спроси у них, — смеялся он.
Горный гул начинался к полночи и стихал к рассвету.

Как и в декабре, наш приезд пришёлся на третий день новолуния, и звёзд было много. Они вырастали на глазах, и так же, как и в прошлый раз, что-то напоминали. Я сошла в сад, чтобы поглядеть на звёзды.

Голый декабрь сменился снежным январём. Снегу нападало — почти по пояс, но я помнила дорожки, по которым можно было пройти по снегу, не зачерпнув его в ленточки, которые мне попались в сених.

Мы с тётёй, обе, походили на моего отца. Мне нужно было видеть её и слышать, но не хотелось ни о чём говорить самой. Первая острота горя унялась, уступив оценению. Становилось тяжело, когда кто-то его пытался пробить. Я чувствовала, что тётя, любившая меня, ждёт разговоров, и не находила в себе душевного отклика. Но сад — другое дело. Стоять на крыльце, выйти в синий снег, вспоминать отца и ни о чём не думать. Ведь вспоминать и думать — это разное.

Синий холод, синеватая сталь ветвей. Сад молчал, едва вздрагивал, качая заледелые жестяные листья. Снег светился в сумерках. Я пыталась почувствовать сад, не прошлый, живший внутри меня, а настоящий: его покой, его распластанные над склоном тяжёлые яблони, но ощущала, в основном, холод. Как если бы я находилась в холодильнике, а сад — в другом, более тёплом, пространстве, и я смотрела на него через стекло. Но месяц назад всё было хуже, всё было одинаково мёрзлым и горьким.

Яблоки, не собранные и не опавшие, висели на коричневых раскидистых деревьях, как ёлочные игрушки. Они были не бурые, как мне показалось в декабре, а разные: и просто сморщенные зимние яблоки, и будто бы расписанные по фарфору, румяные, розовые даже в сумерках, в россыпи маленьких родинок, и застывшие во льду стеклянные шарики. Звёздчатый снег, хрустальные огоньки на тоненьких витых сосульках. Блестящие ледяные капельки на яблоневых ветвях. Все говорило о недавней оттепели, но я не смогла вспомнить, когда она была.

Зато я почему-то вспомнила, как тётя мочила антоновку в медовой воде, и как она варила, совсем без воды, медовое варенье, и какими яркими в нём были яблоки. А потом — как в моём раннем детстве у кого-то здесь, на горе, среди яблонь и груш, стояли улы, и почувствовала вкус того, бледно-жёлтого, яблочного мёда: тонкий аромат белых цветов.

Я закрыла глаза, прислонилась к стволу. Когда я их открыла, исчезли и яблоки, и сосульки, а через широкую, сквозную крону светили большие прозрачные звёзды. Я вдруг поймала ту мысль, которую они во мне будили. Часть этих звёзд погасла несколько миллионов лет назад, а свет всё идёт и идёт на землю.

Лёгкий шёпот прошёл по саду, слабое эхо. Невесть откуда взявшаяся — при ярких высоких звёздах — метель пришла в сад, и робким зверьком, белым столбиком замерла у калитки, прежде чем подойти ко мне, посыпая белой крупой мои следы. И вдруг, вначале неожиданно и смутно, как тогда, в декабре, я почувствовала папу. Я почувствовала его, как чувствуют улыбку. Блуждающей улыбкой, неприютной, беззащитной, но без тени горечи, — словно он ещё не знал о своей смерти. А может быть, это я не знала что-то такое, что уже знал он. Он прошёлся по саду вместе с метелью, коснулся моих волос, выбившихся из-под шапки. Когда я уходила в дом, он уже был везде.

И потом, в тётином доме, я продолжала ощущать его: вот здесь он сейчас, а отсюда только что вышел, а сюда вообще не заходил. Я ходила по комнатам, и слышала, как тётя говорит моему мужу:

— Она думает, что её папа был святой.

Я знала, что она имела в виду. Я подошла к ней и спросила, имея в виду то же, что и она:

— А разве Вам — не всё равно?

— Мне-то всё равно, — сказала тётя. Она говорила правду. Она очень его любила.

— Мне тоже, — сказала я.

Снег шёл всю ночь. Нам постелили в пустующей комнате моих двоюродных братьев. Мне — на прежнем месте, у тёплой стены, за которой была печь и тётина маленькая комната. Мужу — на кровати у окна, где стелили папе, пока я ещё не полюбила спать одна. Я понимала, что значило для моей слабенькой тёти заправить обе постели чистым бельём (кроватьи были широки, хватило бы и одной), и понимала, что она хотела этим сказать.

Ночью я опять вышла на крыльцо. Небо белело, как открытое окно, и белым паром, снежным туманом катило по саду. Заснеженные яблони качались, махали ветвями, как крыльями взлетающие птицы, и казалось, что, если бы не крепкие корни — они бы улетели совсем. И гул стоял в высоком небе.

Я вернулась в дом, в комнату, где мягкие слёзы текли по вспотевшим окнам. И везде был мой отец: в белом небе, в снежном цветении яблонь, в прозрачной росе на окнах. Его было очень много, и он не исчез наутро, когда солнце пробилось сквозь белые ветви деревьев, и облака походили на отражённые в небе горы, а потом снова пошёл снег.

Днём я растянулась у окна на кровати, где, случалось, спал мой отец, смотрела в окно, за которым падали с отяжелевших ветвей пушистые комки, рассыпаясь в воздухе белой блестящей пылью. Я могла бы весь день так лежать. Я думала: то, что происходит теперь — наркоз, анестезия, чудо, которое пройдёт, когда я отсюда уеду. Я не понимала, почему нашла своего отца именно здесь и теперь, и почему этого не случилось раньше, на Новый год, у мамы, которую он любил большой и нежной любовью. Но кому было задать этот вопрос.

Потом, действительно, анестезия кончилась.

Мы ездили к моей тёте почти год — столько, сколько она ещё прожила на свете. Она умерла, как и мой отец, — чуть-чуть не дожив до восьмидесяти шести, в полнолуние. Как и его, её томила и тревожила луна.

С того Рождества прошло восемь лет. И многих за эти годы не стало: двух моих братьев, сестры, мамы, любимого моего дяди, и ещё двух людей, про которых я даже подумать не могла, что они могут умереть.

Они умерли, и продан дом, где восемь лет назад бродила задумчивая метель, оседая на замёрзших яблоках густым белым месивом. Мне грустно об этом писать, но я уже привыкла к этой грусти.

Но вот в чем дело: все умерли, а он — остался. Вернувшись в том саду со снежными лепестками январских яблонь, он никуда не исчез.

Я чувствую, что он жив, как чувствуют на своём лице ветер.

Мне с самого начала казалось, что он не мог умереть до конца.